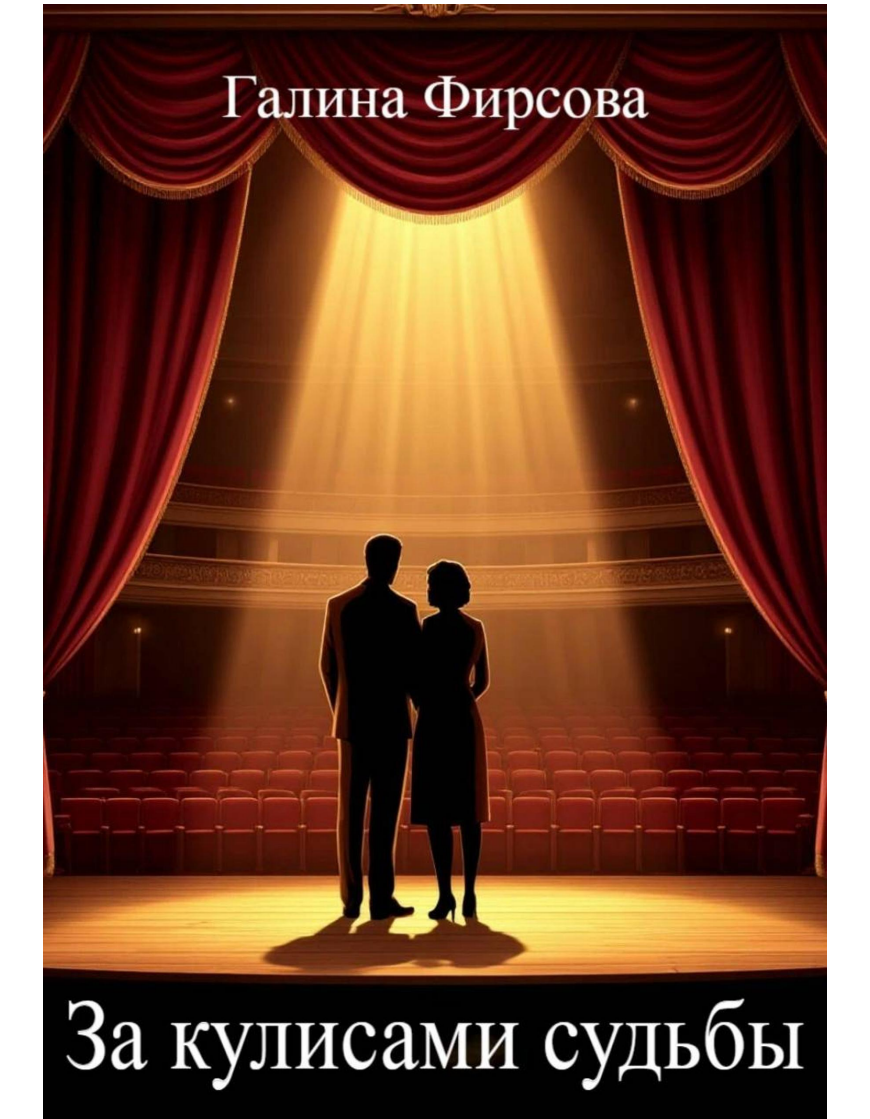


A man and a woman are standing on a theater stage, their silhouettes illuminated by a bright spotlight from above. They are facing each other, and the stage is filled with rows of empty red seats. The theater's architecture, including balconies and ornate details, is visible in the background. The scene is set against a backdrop of heavy red curtains.

Галина Фирсова

За кулисами судьбы

Галина Фирсова

За кулисами судьбы

<https://litres.ru/74215352>

SelfPub; 2026

Аннотация

Документальная повесть «За кулисами судьбы» Галины Фирсовой – это проникновенная история о подлинном служении искусству и о любви, которая становится опорой в любой буре. В центре повествования – судьбы супругов, двух выдающихся актёров, Народной артистки Российской Федерации Нины Александровны Шаровой и единственного на Урале Народного артиста СССР Бориса Фёдоровича Ильина, чьи жизни неразрывно связаны со сценой Свердловского государственного академического театра драмы. Их путь начинается в непростые годы и проходит через десятилетия. Союз Нины Александровны Шаровой и Бориса Фёдоровича Ильина – это дуэт не только на сцене, но и в жизни: они спорили, искали, ошибались и снова находили верные интонации – и в ролях, и в отношениях. Повесть написана племянницей супругов, которая спустя годы бережно перебирает старые фотографии, рецензии и письма, чтобы сохранить эту историю и не дать ей раствориться во времени.

Галина Фирсова

За кулисами судьбы

За кулисами судьбы

Документальная повесть

Посвящается любимым тёте и дяде: Народной артистке Российской Федерации Нине Александровне Шаровой и единственному на Урале Народному артисту СССР Борису Фёдоровичу Ильину

От автора

Когда я взялась за эту повесть, мне казалось, что я пишу прежде всего о театре. О тяжёлом бархате кулис, о запахе пыли и лака, о том, как дрожит голос в пустом зале перед первой репликой. Мне хотелось рассказать про сцену Свердловского государственного академического театра драмы – про её особый свет, про её требовательную тишину, про то, как она умеет и возвышать, и проверять на прочность.

Но чем дальше я шла по страницам жизни моих любимых тёти и дяди, тем яснее становилось: я пишу не о сцене. Я пишу о людях, для которых сцена была не пьедесталом, а местом честного разговора – о Нине Александровне Шаровой и Борисе Фёдоровиче Ильине, которые никогда не считали

аплодисменты мерилом правды. Для них важнее была та секунда в зале, когда зритель вдруг выпрямлялся, будто слышал что-то про себя. «Это про меня», – говорили эти секунды. И ради них стоило выходить на подмостки снова и снова.

Эта книга родилась из старых фотографий, пожелтевших афиш, выцветших писем и разговоров, которые я старалась не пропустить, пока они ещё звучали вживую. Из воспоминаний о даче в Переделкино, где на берегу пруда даже самая большая усталость становилась тише. Из рассказов о фронтовых бригадах, где спектаклем называли десять минут чтения стихов в теплушке, потому что и этого было достаточно, чтобы кто-то вспомнил: дома его ждут. Из будничных деталей: чашки чая после репетиции, карандаша, которым Борис Фёдорович делал пометки на полях пьесы, лёгкого жеста Нины Александровны, которым она словно собирала рассыпавшиеся слова в одну верную интонацию.

Я не стремилась создать безупречные образы. Мне хотелось показать их живыми: усталыми после спектакля, требовательными на репетиции, внимательными к молодым актёрам, которые приходили к ним не за готовыми рецептами, а за тем, чтобы научиться слышать. Они не давали лёгких ответов. Они спрашивали: «А ты сам веришь в то, что говоришь со сцены?» И этот вопрос был труднее любой роли.

Повесть написана от лица рассказчицы – от моего лица, племянницы моих героев. Я не беспристрастный летописец, а человек, который любил этих людей и потому помнит не

только их силу, но и их сомнения, не только их победы, но и мгновения, когда им хотелось просто сесть и помолчать. В этой книге много моего личного: слёз, улыбок, неловкости, когда понимаешь, что не успеваешь спросить самое важное. Но в ней ещё больше правды – той, которую они несли и на сцене, и в жизни.

Название «За кулисами судьбы» родилось не случайно. За кулисами остаётся то, что зритель не видит: споры, поиски, тихие разговоры, поддержка, которая не требует слов. За кулисами рождается то, что потом выходит на свет рамп и становится общим. Мне хотелось приоткрыть эту завесу совсем немного – ровно настолько, чтобы стало видно: великая сцена держится не на громких эффектах, а на ежедневной ответственности, на умении быть рядом, на верности своему делу и друг другу.

И ещё мне хотелось сохранить голос этих людей. Не для музея, не для сухих справок в энциклопедии, а для того, чтобы кто-нибудь, уставший от суеты и сомнений, открыл эту книгу и подумал: «Были такие люди. Они знали, как не потерять себя. Значит, и я смогу».

Пусть эта повесть будет не просто рассказом о прошлом. Пусть она станет мостом между теми, кто жил и творил, и теми, кто сегодня ищет свой путь. Между большой сценой и маленьким, но таким важным миром семьи. Между минутой тишины и словом, которое однажды прозвучит и найдёт своего слушателя.

Со светлой памятью о моих любимых людях,

Галина Фирсова.

Пролог. Рыбалка в Переделкино

Я до сих пор помню этот запах – сырой травы, воды и чуть-чуть дымка от чьего-то далёкого костра. Переделкино в те дни было не только про знаменитостей и не про историю. Оно было про тихий берег пруда, про мостки, которые чуть поскрипывали под ногами, и про то, как дядя Боря терпеливо поправлял мою удочку, будто это самое важное дело на свете.

Мне тогда было лет шесть, не больше. Всё казалось огромным: и камыши, и небо, и сам дядя Боря, который рядом с кулисами и афишами казался мне великаном, а тут, на берегу, вдруг стал просто очень спокойным человеком. Он не торопил. Не смеялся, если у меня что-то не получалось и тихо говорил:

– Смотри на поплавок, но не напрягайся. Пусть он сам тебе подскажет.

Я кивала, хотя не очень понимала, как поплавок может что-то подсказать. Но мне нравилось, что дядя Боря говорит со мной, как со взрослой.

Тётя Нина стояла на крыльце дачи, чуть облокотившись на перила. Она не подходила близко, будто знала: это на-

ше с дядей Борей время. Только улыбалась. Иногда кричала негромко:

– Не замёрзли? Там в доме чай уже готов.

Дядя Боря кивал ей, не оборачиваясь, но я видела, что ему достаточно этого её голоса. Достаточно того, что она там, на крыльце, улыбается.

Удочка была для меня слишком тяжёлой, и дядя Боря держал её вместе со мной. Его рука – большая, тёплая, немного шершавая – легла поверх моей, и я вдруг почувствовала себя совсем в безопасности.

– Вот видишь, дрогнул, – прошептал он. – Сейчас... сейчас...

Я даже дышать перестала. И когда поплавок ушёл под воду, я взвизгнула от неожиданности. Дядя Боря не дал мне дёрнуть слишком резко. Спокойно, уверенно подсёк.

– Теперь тяни. Не быстро. Потихоньку.

И я тянула. С трудом, обеими руками, чувствуя, как что-то живое сопротивляется на том конце лески. А он стоял рядом и подсказывал:

– Ещё чуть-чуть... Вот так...

И вот она – маленькая, серебристая, отчаянно трепещущая рыбка. Я смотрела на неё, не зная, радоваться или жалеть.

Дядя Боря кивнул:

– Вот и первая.

В этом «первая» не было ни гордости, ни похвальбы. Про-

сто тихое признание: да, у тебя получилось. И в тот момент я поняла, что он умеет радоваться самому малому – не овациям, не афишам, не званиям, а вот этому: маленькой рыбке, тихому пруду, моему счастливому лицу.

Тётя Нина спустилась с крыльца и подошла к нам. Накрыла наши руки своей:

– Ну что, герои, будем отпускать? Или пусть папа уху сварит?

Я посмотрела на рыбку, потом на дядю Борю. Он чуть улыбнулся:

– Как ты решишь. Это твоя добыча.

Я подумала секунду и сказала:

– Пусть плывёт.

Дядя Боря аккуратно снял её с крючка, подержал в ладонях, будто согревая, и опустил обратно в воду. Рыбка метнулась прочь, оставив на поверхности несколько кругов, которые медленно разошлись и пропали.

Мы стояли втроём у воды, и мне казалось, что весь мир – вот он, здесь: пруд, дача, эти двое взрослых, которые смотрят на меня так, будто я – самое главное их чудо.

Позже, когда я стала старше, мне много раз пытались объяснить, кто такой Борис Фёдорович Ильин: Народный артист СССР, легенда уральской сцены, человек, игравший так, что зал замирал. Но я всегда вспоминала не афиши и не рецензии. Я вспоминала мостки, поплавок и его спокойное: «Вот и первая», потому что именно там, у тихого пруда, я узнала

его по-настоящему.

Глава 1. Конная армия и клуб полка (1918)

Степь пахла гарью, конским потом и пылью, которая въедалась в кожу и скрипела на зубах. Служба в Конной армии Будённого не оставляла времени на раздумья: переходы, построения, тревоги, внезапные приказы, которые надо исполнять сразу, не рассуждая. По утрам, когда туман ещё стелился по земле, а воздух был почти прохладным, Борис смотрел на эту бескрайнюю пустоту так, будто искал в ней хоть какой-то намёк на прежний мир: на тихие улицы Саратова, на запах свежееиспечённого хлеба, на смех соседских мальчишек, на тяжело работавшего отца-кустаря, на многочисленных братьев и сестёр. Вспоминал себя, оставившего учёбу и начавшего работать на железной дороге в пятнадцать лет, чтобы помогать прокормиться семье. В памяти возникло, как сам самостоятельно постигал азы учёбы, поступил в реальное училище и окончил его, экстерном сдав экзамены.

Тогда же он обратился к любительской студии, которую организовал вместе с товарищами. Это было не просто развлечение после работы. Это было дело. В студии собирались люди, которые умели говорить не лозунгами, а живыми словами: бывший учитель, потерявший школу в разрухе, парень с завода, который читал Маяковского так, будто сам написал его стихи, и несколько девушек, которым хотелось верить,

что мир может быть красивым, даже если вокруг всё ещё серо.

Они ставили Островского, Чехова, короткие агитпьески – всё, что могли разобрать, понять, прожить. Борис не столько играл, сколько тянул на себе всю эту хрупкую конструкцию. придумывал мизансцены, уговаривал кого-то дать стул для декорации, договаривался о помещении, а потом ещё и выходил на сцену. И каждый раз, когда зал – пусть и маленький, пусть из знакомых лиц – замирал на секунду, он чувствовал, как внутри распрямляется что-то сомневающееся.

Однажды на их спектакле оказалась актриса и театральный педагог Мария Ивановна Велизарий. Она сидела в третьем ряду, прямая, внимательная, будто не смотрела, а слушала всем телом. После спектакля она подошла к Борису и сказала без лишних комплиментов:

– У тебя есть стержень. Ты не стараешься понравиться. Ты стараешься, чтобы было правдиво. Приходи ко мне в студию

Борис тогда даже не сразу понял, что это приглашение – подарок. Он привык, что подарки бывают про еду, про тёплую одежду, про то, что спасает от холода. А тут подарили дело, которое стало основным в его жизни.

В студии Велизарий всё было строже, собраннее. Там не прощали небрежности ни в интонации, ни в жесте. Борис учился заново говорить: не кричать, если хочешь быть услышанным, не прятать глаза, если надо показать страх. Он запоминал, как Велизарий повторяла: «Сцена не любит суеты.

Она любит правду, даже если она неудобная». Воспоминания о прошлом приходили, но степь молчала или говорила только о войне.

В конце 1918 года Борис вступил добровольцем в Красную Армию, в Конармию, Первую конную армию Семёна Михайловича Будённого. Это была школа мужества. Подчас лошади шли всю ночь, люди засыпали прямо в седле, а проснувшись, обнаруживали, что мир вокруг стал другим – новым, чужим, жёстким. Борис быстро понял: здесь нельзя быть слабым, нельзя показывать, что тебе страшно, нельзя жаловаться. Но ещё он понял другое: если совсем не оставлять места для чего-то человеческого, то человек внутри тебя просто сгорает, как сухая трава.

Однажды вечером, после долгого перехода, когда люди сидели у костров, сгорбившись от усталости, кто-то тихо затянул песню. И вдруг стало слышно, как дрожит голос у сильного, грубого с виду бойца. Песня оборвалась на полуслове, но тишина после неё была уже другой, будто кто-то снял тяжёлый груз с плеч хотя бы на минуту.

Тогда-то у Бориса и родилась мысль: если песня может сделать так, что человек на миг перестанет быть просто солдатом, а снова станет собой – сыном, мужем, парнем из деревни, – то, может, и сцена сможет.

Его назначили заведующим полковым клубом. Слово звучало солидно, а на деле это был старый сарай на колёсах, который тянули лошади, да несколько ящиков с реквизитом,

собранным по крупицам: обрывки ткани, пара сломанных стульев, чьи-то старые сапоги, которые годились на роль бутфорских. Но для Бориса этого было достаточно.

Фронтовой быт был суров и однообразен. Утром подъём по тревоге, короткий завтрак из сухарей и горячего чая, который казался единственным островком нормальной жизни. Потом – снова в седло, снова степь, снова ветер, который хлещет по лицу и не даёт забыть, где ты. Вечером, если не было срочного приказа, люди собирались у костров. Кто-то чинил снаряжение, кто-то писал письма домой, чтобы потом передать с вестовым. Кто-то молча смотрел в огонь, думая о том, что, возможно, это письмо будет последним. Борис видел, как с каждым днём в глазах бойцов появляется всё больше пустоты – такой, в которую проваливается всё: память о доме, запахи, голоса родных. И эта пустота пугала его сильнее пуль.

– Ты серьёзно хочешь ставить спектакли? – хмыкнул однажды командир, глядя, как Борис расчерчивает мелом на земле линии будущей сцены. – Тут не до представлений. Тут воевать надо.

Борис не спорил. Он только тихо ответил:

– Именно поэтому и надо. Пусть хоть на полчаса забудут, что кругом война.

И командир, помолчав, кивнул.

Первую постановку делали почти на ощупь. Взяли простую сценку о деревенском парне, который уходит на фронт,

а мать плачет у ворот. Писали текст сами, прямо на обрывках бумаг, подбирая слова, которые были бы понятны каждому. Актёрами стали бойцы – те, кто не боялся выйти вперёд, те, у кого в глазах ещё оставалось что-то, кроме усталости.

Репетировали по ночам, когда можно было хоть немного выдохнуть. Борис ходил между ними, поправлял интонации, просил не кричать, а говорить так, будто рядом сидит тот, кого ты боишься больше всего на свете потерять.

– Не для зала стараемся, – повторял он. – Для себя. Чтобы вспомнить, ради чего всё это.

Иногда ему казалось, что он сам не имеет права учить других, как играть правду, когда сам не знает, как удержать эту правду в себе. В такие минуты его накрывало чувство вины: пока он тут расставляет людей по сцене, другие готовятся идти в бой. Но потом он видел, как у бойца, который только что произносил реплику, разглаживались морщины на лбу, как он на секунду становился не солдатом, а просто парнем, который скучает по дому. И тогда чувство вины отступало, сменяясь тихой уверенностью: это тоже нужно.

Премьера случилась в степи, под открытым небом. Вместо занавеса – два куска ткани, вместо рампы – костры. Зрителями были такие же уставшие, обветренные люди, которые привыкли, что любое собрание – это либо построение, либо приказ. Но когда на «сцене» парень в грубой гимнастёрке тихо сказал матери: «Я вернусь», и голос его дрогнул не от актёрства, а от настоящей боли, в зале стало тихо. И в этой

тишине было слышно, как кто-то шмыгает носом, как скрипит кожа ремней, как дышит степь.

Когда сценка закончилась, никто не хлопал. Просто сидели, опустив головы, и каждый думал о своём. А потом один из бойцов, крупный мужчина с тёмными, глубоко посаженными глазами, подошёл к Борису и сказал, не глядя ему в глаза:

– Спасибо. Я сегодня будто домой съездил.

Эти слова Борис запомнил навсегда.

С тех пор клуб полка стал чем-то вроде островка, где можно было на время перестать быть винтиком войны. Ставили короткие сценки, читали стихи, устраивали концерты. Иногда это были смешные истории, чтобы люди посмеялись и почувствовали, что умеют смеяться. Иногда – грустные, чтобы выплакать то, что копилось неделями.

Борис видел, как после таких вечеров бойцы расходились по палаткам чуть прямее, чуть спокойнее. И понимал: его дело здесь не менее важное, чем у тех, кто скачет в атаку. Потому что если человек забудет, ради чего он сражается, то и сражаться будет нечем.

Однажды ночью, когда все уже спали, а он сидел у погасшего костра и перебирал в голове новые идеи для постановок, к нему подошёл пожилой боец, который редко говорил, но всегда слушал внимательно.

– Ты ведь артист, да? – спросил он тихо.

Борис пожал плечами:

– Да как сказать... Просто хочется, чтобы людям было чуть легче.

Боец кивнул, будто услышал именно то, что хотел:

– Вот это и есть настоящее искусство. Не когда красиво, а когда вовремя.

И в этих словах Борис нашёл для себя что-то очень важное – ту самую правду, которую потом всю жизнь искал на сцене.

В ту ночь он долго не мог уснуть. Думал о том, как странно устроена жизнь: он вдруг начал мечтать о театре, о большой сцене, а случилось это потому, что судьба привела его сюда, в степь, где рампой служат костры, а лучшей наградой – слова простого бойца: «Я сегодня будто домой съездил». И вдруг Борис понял, что сцена – это не про стены и не про занавес. Сцена – это про человека, которому сейчас тяжело, про миг чужой боли и про слово, которое может его удержать, не дать человеку упасть.

Глава 2. Тени Полевского

Детство Нины пришлось на тяжёлые послереволюционные годы – те самые, когда само слово «завтра» звучало как обещание, в которое уже почти никто не верил. Семья жила в посёлке при Северском заводе, ставшем частью посёлка Полевского под Екатеринбургом, в маленьком доме у края посёлка, будто прижатом к земле холодом и нуждой. Выживание здесь было не задачей, а ежедневной битвой – за дро-

ва, за горсть муки, за право просто не замёрзнуть ночью.

Отец, Алексей Михайлович Заспанов, участвовал в Гражданской войне в Красной армии и погиб в разведке. Пустота в доме стала такой же осязаемой, как ледяные сквозняки из щелей в полу.

Всё в доме словно сдвинулось с места и покатилося вниз. Галина Ивановна, прежде тихая и собранная, теперь ходила по дому с застывшим взглядом, будто искала что-то утерянное навсегда. Она старалась держаться, прятать слёзы, чтобы не пугать дочерей, но Нина видела, как дрожат её руки, когда мать пересчитывала скудные запасы. В те дни даже тишина в доме была тяжёлой, она давила, звенела в ушах, как натянутая струна.

Дочери Нина и Люба старались быть незаметными, не просить лишнего, не мешать матери, которая теперь должна была быть и отцом, и кормильцем, и защитником. Девочки рано научились понимать несказанные вещи: по тому, как мать смотрит на пустую полку, по тому, как долго греет над печкой одну и ту же кружку кипятка, становилось ясно – сегодня еды не будет. Они делили между собой последний кусок хлеба, стараясь отломить другому побольше, и молчали, чтобы не выдать, как сильно хочется есть.

Ключевым поворотом в судьбе Галины Ивановны стал брак с Александром Шаровым. Он появился в их жизни, когда надежда уже почти угасла. Александр приехал в Полевской с группой чекистов из Екатеринбурга, выполняя при-

каз. Он был суровым, собранным, с внимательными, будто всё замечающими глазами. В нём не было показной мягкости, но была твёрдость, которая в те времена ценилась дороже золота. Он увидел, как тяжело приходится Галине Ивановне, как она держится из последних сил, и понял: этим людям нужна не просто помощь, а спасение.

Александр женился на Галине Ивановне и вывез семью из Полевского в Екатеринбург. Это был не просто переезд, это был побег от голода, от холода, от той безысходности, что уже вползала в каждый угол их дома. В новом месте было легче, появилась опора: человек, который знал, как действовать, где достать дрова, как договориться о работе, как уберечь близких от беды, был офицерский паёк. Александр Шаров не обещал чудес, но делал то, что мог, и этого оказалось достаточно, чтобы семья снова смогла дышать.

Александр не пытался заменить девочкам отца, но стал для них тем, кто не даёт упасть, когда сил уже нет. С ним в доме снова появились тёплые вечера, когда можно было не дрожать от холода, и разговоры, в которых не звучала только одна нота – отчаяние. Девочки полюбили его беззаветно. Нина запомнила его привычку перед сном проверять, хорошо ли закрыты окна, и тихо говорить: «Теперь всё будет в порядке». И ей хотелось верить, что так и есть.

Но судьба не дала им долгого спокойствия. Александр Шаров вскоре умер от чахотки. Болезнь подкралась незаметно, сначала лишь лёгким кашлем, потом – бессонными но-

чами и всё более бледным лицом. Он до последнего старался не показывать, как ему тяжело, будто боялся, что если признает слабость, то рухнет и та хрупкая защита, которую он выстроил вокруг семьи. Когда его не стало, в доме снова повисла тишина, но теперь она была другой: не злой, не давящей, а полной тихой скорби и благодарности.

Александр Шаров оставил о себе добрую память и любовь в сердцах девочек. Нина и Люба знали: он не был их родным отцом, но он спас их, когда никто другой не смог. И эта благодарность жила в них, сплетаясь с грустью, с ощущением долга перед тем, кто однажды протянул руку в самый трудный час.

Глава 3. От училища к сцене (1920-е)

После Конной армии мир будто стал слишком тихим. Сначала эта тишина пугала: Борис ловил себя на том, что вздрагивает от обычного птичьего крика, прислушивается к каждому скрипу половиц, будто ждал команды. Но потом тишина начала звучать по-другому – в ней слышался не покой, а возможность. Возможность снова заняться тем, к чему лежит душа.

По конкурсу он поступил в Высшее театральное училище в Саратове. Это было непросто: учиться и одновременно работать в Показательном рабочем театре, где платили не деньгами, так хоть хлебом. Но он не жаловался. Ему казалось, что

если он сейчас остановится, то снова услышит в голове степной ветер и то самое молчание, которое бывает после боя.

Потом начались переезды. Каждый новый город был как экзамен: другой театр, другие люди, другой воздух. Саратов, Сталинград, Одесса, Самара, Баку, Харьков... В каждом месте Борис старался не просто играть, а становиться нужным. Где-то он ставил небольшие спектакли для рабочих, где-то помогал молодым артистам не растеряться перед залом, где-то просто держал на себе репертуар, когда кто-то заболел.

В Одессе он запомнил одну сцену: шёл дождь, в театре текло с потолка, и воду собирали в тазы прямо во время спектакля. Зрители сидели в плащах, но не уходили. Актёры говорили свои реплики, прислушиваясь к стуку капель, и в этом странном ритме – дождь, слова, дыхание зала – родилась какая-то особенная правда. Борис понял тогда: театр может жить даже в сырости, даже в тесноте, даже когда всё идёт не по плану. Главное, чтобы между сценой и залом оставалось это невидимое соединение.

В Баку он впервые почувствовал, как чужой город может стать своим, хотя бы на время. Там он учился вдумываться не только в текст, но и в то, что между строк.

Но где бы он ни был, его не оставляло чувство, что он всё ещё ищет. Не славы, не удобства, а тех самых людей, с которыми можно молчать на сцене и всё равно быть понятым.

И вот в 1936 году он приехал в Свердловск. Город встретил его мокрым снегом и ветром, который, казалось, продудил

вал насквозь. Театр был большим, серьёзным, с историей. В первый день Борис стоял в кулисах и слушал, как за стеной разговаривают артисты. Не о ролях, а о житейском: кто-то смеялся, кто-то спорил, кто-то тихо жаловался на холод в гримёрке. И вдруг он почувствовал: здесь можно дышать полной грудью.

На первой репетиции он заметил, как один актёр, произнося реплику, смотрел не в зал, а на партнёра, будто эта фраза была адресована только ему. И партнёр отвечал не текстом, а взглядом. И в этом обмене, в этой живой связи, Борис вдруг понял то, к чему шёл все эти годы.

После репетиции он вышел на улицу, остановился у старого фонаря и глубоко вдохнул холодный воздух. И подумал: «Вот оно. Не город делает театр. Не стены. Не афиша. Люди. Те, кто рядом с тобой на сцене. Те, кто не дают тебе солгать».

С этого момента он перестал искать. Он пришёл домой.

А через несколько недель случилось то, что словно замкнуло круг его пути. На одну из ролей взяли молодую актрису – Лену. Ей было лет девятнадцать, не больше. В обычной жизни она смеялась звонко, говорила быстро, щёлкала пальцами от нетерпения. Но стоило ей оказаться у кромки сцены, как она будто сжималась, становилась меньше, а голос её делался тонким, как натянутая струна.

Накануне премьеры она стояла в кулисах, белая как полотно, и шептала:

– Я не смогу. Я всё испорчу. Они будут смотреть... Я не

выдержу.

Борис подошёл к ней не спеша, чтобы не спугнуть. Он не стал говорить пустых ободрений вроде «всё будет хорошо», он знал, что такие слова в эту минуту только злят, потому что звучат как ложь.

– Ты боишься не сцены, – тихо сказал он. – Ты боишься, что они увидят, какая ты на самом деле. А знаешь, в этом и есть вся суть. Мы выходим сюда не чтобы прятаться. Мы выходим, чтобы показать правду. Даже если она дрожит.

Лена подняла на него испуганные глаза:

– А если я забуду слова?

– Если забудешь – скажи своими. Главное – не теряй связь с тем, кто напротив. Пока ты смотришь на партнёра, пока ты чувствуешь, что вы вместе делаете одно дело, ты не одна. А если ты не одна, ты не можешь провалиться.

Она сжала кулаки, будто пыталась удержать в себе эту дрожь:

– Мне страшно.

Тогда Борис чуть наклонился к ней и произнёс те самые слова, которые когда-то сказала ему Мария Ивановна Велизарий:

– Сцена не любит суеты. Она любит правду, даже если она неудобная. Просто будь настоящей. Этого достаточно.

Лена кивнула, не столько поверив, сколько решив довериться ему хотя бы на эти несколько минут. И когда она вышла на сцену, голос её всё ещё дрожал, но в нём уже была не

паника, а жизнь. И зал это почувствовал.

Когда спектакль закончился, Лена подбежала к Борису, уже не бледная, а раскрасневшаяся, живая:

– Получилось! Я не знаю как, но получилось!

Борис только улыбнулся:

– Потому что ты перестала бояться себя.

И в ту минуту он вдруг ясно понял: всё, что с ним было раньше – и Конная армия, и студия, и переезды, и чужие города, – было нужно не только ему. Оно было нужно вот для этого: чтобы однажды сказать нужные слова тому, кто стоит в кулисах и дрожит от страха. Чтобы передать дальше то, что когда-то дали ему.

Глава 4. Мечта о белом халате (начало 1930-х)

В доме пахло хлебом и утюгом: мама гладила бельё, прижимая его к доске с таким старанием, будто от этого зависело, будет ли день хорошим. Нина сидела на краю табуретки, смотрела, как пар вьётся над тканью, и шептала про себя слова, которые выучила ещё утром: «анатомия», «пульс», «диагноз». Они звучали для неё почти как заклинания – строгие, надёжные, обещающие, что если ты их знаешь, то сможешь удержать человека на этом свете.

Она хотела быть врачом. Не просто помогать, а именно спасать: стоять у кровати, слушать сердце, говорить спокойно: «Всё будет хорошо», и чтобы это «хорошо» действительно

но наступало. Ей казалось, что нет ничего важнее, чем быть тем, к кому бегут, когда страшно.

В школе её так и звали – «наша докторша». Если кто-то порезал палец, все шли к Нине: она промывала ранку, накладывала чистую тряпочку, говорила что-нибудь простое, но так, что сразу становилось не так больно. А если кто-то грустил, она садилась рядом и слушала, не перебивая, будто и грусть тоже можно было «вылечить» вниманием.

Но однажды всё чуть-чуть изменилось. В школе объявили, что открывается

драмкружок, и учительница литературы, Мария Петровна, позвала Нину:

– У тебя голос хороший, и ты умеешь слушать. Приходи.

Нина пошла скорее из любопытства, чем из желания играть. Ей казалось, что театр – это про нарядные платья и громкие слова, про то, что не имеет отношения к настоящей помощи.

Первая репетиция была про дождь. Не про настоящий, конечно, а про то, как его играют: пересыпали горох в узких трубах, стучали палочками по жестяному листу, а кто-то из ребят говорил: «Опять льёт». И вдруг оказалось, что дождь можно сделать не только мокрым, но и грустным, или злым, или таким, от которого хочется спрятаться под одеяло.

Нине дали маленькую роль: девочка, которая ждёт маму и всё время смотрит в окно. Никаких длинных монологов, просто стоять, смотреть и иногда говорить: «Она скоро при-

дёт». Но когда она вышла на сцену, зал вдруг стал не пустым, а полным чьих-то взглядов, чьих-то ожиданий. И Нина поняла: если она сейчас просто скажет эти слова, никто не поверит. А если она вспомнит, как сама однажды долго ждала маму, как сердце сжималось от каждого скрипа лестницы, тогда получится правда.

И она вспомнила. И сказала: «Она скоро придёт» – так, что в зале кто-то тихо вздохнул. После репетиции Мария Петровна подошла к ней и сказала:

– Знаешь, ты не просто играла. Ты будто отдала кусочек своего настоящего. И люди его почувствовали.

Нина тогда не знала, радоваться этому или пугаться. Потому что это было похоже на то, как она «лечила» порезанные пальцы: ты берёшь его боль, а отдаёшь свою надежду, чтобы ему стало легче. Только здесь не бинт, а слово. Не градусник, а взгляд.

Дома, лёжа на узкой кровати рядом с Любой, она долго не могла уснуть. Мама уже дышала ровно на соседней кровати. Нина смотрела на тёмный потолок и думала: а разве это тоже не служение? Разве если ты можешь заставить человека на минуту забыть про свою беду, это не помощь? Но тут же в груди поднимался тихий протест: «А если кому-то правда нужна помощь? Если кто-то заболел, а ты вместо больницы пойдёшь на репетицию?» Ей казалось, что она предаёт свою первую мечту – ту самую, про белый халат и про слово «диагноз», которое должно спасти.

– О чём ты всё думаешь? – прошептала Люба, не открывая глаз.

– Боюсь, что выбираю не то, – призналась Нина.

Люба помолчала, потом тихо сказала:

– А может, то. Просто по-другому.

Эти слова не решили ничего, но немного успокоили. Как будто разрешили ей пока сомневаться.

С каждым днём драмкружок затягивал всё сильнее. Оказалось, что в чужих судьбах, в чужих словах можно прожить столько жизней, сколько не вместит одна профессия. И что сочувствие – это тоже сила, только тихая.

Однажды после репетиции Нина шла домой через мокрый двор, где лужи отражали редкие фонари, и вдруг остановилась. Она поняла, что впервые за долгое время не думала о том, как стать врачом. Она думала о роли, о том, как лучше сказать одну фразу, чтобы она попала прямо в сердце. И от этого понимания ей стало и радостно, и горько одновременно.

«Я не отказываюсь помогать, – мысленно говорила она, будто оправдываясь перед той девочкой, которая мечтала о белом халате. – Я просто буду делать это иначе».

Глава 5. Тбилиси: страх и доброта (1935)

Поезд шёл долго, будто не спешил привозить их туда, где всё должно было стать по-другому. Нина прижималась

лбом к холодному стеклу, смотрела, как мелькают столбы, как степь постепенно сменяется холмами, а потом и горами, острыми и серьёзными, будто они заранее предупреждали: тут будет непросто.

Рядом, на жёсткой полке, тихо дышала Люба, а мама, сжав губы, смотрела вперёд, будто могла силой воли заставить поезд ехать быстрее. В её взгляде читалось: «Мы должны успеть. Мечта не должна нас потерять».

Когда-то всё казалось простым: Нина поступает в театральное училище в Свердловске, учится, выходит на сцену. Но училище вдруг «уехало» в Тбилиси, и мечта уехала вместе с ним. И тогда мама не стала вздыхать и разводить руками. Она просто собрала дочерей и сказала:

– Поедем. Раз надо – поедем.

И они поехали. Без твёрдых обещаний, без уверенности, что всё получится. Только с тем самым упрямым «надо».

В Тбилиси было шумно, пахло хлебом и специями, улицы поднимались вверх так круто, что казалось, будто город хочет увести тебя куда-то выше, туда, где видно дальше. Но для Нины и Любы этот город был чужим. Каждый поворот, каждый незнакомый голос, каждый взгляд, который скользил по ним и останавливался чуть дольше, чем нужно, – всё это шептало: «Вы здесь чужие».

Когда они совсем уже начали терять надежду найти место, где можно остановиться, репетировать, где можно просто посидеть и не чувствовать себя лишними, им встрети-

лась семья Глonti.

Михаил, парень лет двадцати, увидел, как Галина Ивановна пытается удержать на руках тяжёлый свёрток с вещами, и подошёл:

– Позвольте, помогу. Куда вам?

Он не просто помог донести вещи. Он привёл их к себе домой, усадил за стол, налил горячего чая и сказал своим родителям:

– Пусть пока побудут у нас. Им страшно.

Семья Глonti приютила их. Не на день, не на два, а столько, сколько нужно. В их доме было шумно, тесно, но в этой тесноте жила какая-то особенная, тёплая сила. Здесь не спрашивали лишних слов, зато всегда ставили лишнюю тарелку.

Вечерами, когда в комнате становилось темно, мама укладывала девочек по бокам от себя, как будто так можно было удержать мир, не дать ему рассыпаться. Нина чувствовала тепло маминого плеча, слышала, как ровно она дышит, и ей становилось чуть спокойнее.

– Не бойтесь, – шептала мама, хотя, наверное, боялась сама. – Мы друг у друга есть. Этого хватит.

Михаил был простым, открытым, с широкой улыбкой, которая будто разгоняла любой мрак. Он не смотрел на Нину и Любу как на чужих, а сразу сделал их частью этого дома. И в какой-то момент Нина поняла: доброта тоже бывает разной.

Бывает громкой, бывает показной, а бывает вот такой – обыденной, как хлеб на столе, как стул, который тебе пододвигают. И именно эта обыденная доброта запоминается навсегда.

А ещё в этом доме случилась тихая, чистая история: Михаил полюбил Любу. Не бурно, не с клятвами, а просто – он смотрел на неё, улыбался чуть чаще, старался оказаться рядом, когда нужна была помощь, и однажды тихо сказал:

– Ты не бойся. Тут все свои.

Люба краснела, опускала глаза, но в её улыбке было столько света, что даже мама, обычно строгая к таким вещам, чуть смягчалась. Для Нины эта влюблённость стала светлым следом, который остался в памяти как доказательство: даже в чужом городе, даже когда всё зыбко, может случиться что-то хорошее.

Когда они уже начали привыкать к Тбилиси, к его запахам, к его крутым улочкам, к семье Глonti, как к своим, их поиски театрального училища завершились сообщением, что училище вернулось в Свердловск. Мечта, за которой они так долго ехали, вдруг снова оказалась там, откуда всё началось.

Узнав об этом, Галина Ивановна немного помолчала и сказала:

– Значит, едем обратно.

Нина стояла у окна и смотрела на горы, которые теперь казались ей почти родными. Ей было и горько, и радостно одновременно. Горько – потому что приходилось оставлять эту неожиданную доброту, оставлять дом, где их приняли.

Радостно – потому что мечта не исчезла, она просто сделала круг и вернулась.

В последнюю ночь в доме Глонти мама снова уложила девочек по бокам от себя. А Нина вдруг поняла, что теперь она знает: мир не всегда враждебен. Иногда он подставляет плечо, даже когда ты его не просишь. И самое важное – потом самому не забыть подставить это плечо другому.

Михаил проводил их на вокзал. Он не говорил громких слов, только пожал руку Галине Ивановне, кивнул девочкам и тихо сказал Любе:

– Береги себя. И помни: если когда-нибудь станет страшно, знай, что тут есть люди, которые всегда тебя примут.

Поезд тронулся, и Тбилиси начал медленно отдаляться. Нина смотрела, как город тает в дымке, и шептала:

– Я запомню. Я не забуду.

И она не забыла. Всю жизнь она хранила в себе эту простую истину: доброта – это не подвиг. Это чашка чая, предложенный стул, слово, сказанное вовремя. И когда потом, уже взрослой, к ней подходили молодые актрисы, переживавшие перед премьерой, или кто-то из коллег приходил с тяжёлым сердцем, она не пыталась их оглушить советами. Она просто садилась рядом, наливала чаю и говорила:

– Посиди. Сейчас станет легче.

Потому что однажды кто-то точно так же согрел её.

Глава 6. Нина. Возвращение и выбор (1935–1939)

Свердловск встретил их не праздничными огнями, а серым дождём, который шёл уже третий день подряд и будто хотел смыть с города все следы радости. Но для Нины этот дождь был родным. Она глубоко вдохнула сырой воздух, пахнувший мокрым камнем и влажной листвой, и впервые за долгое время почувствовала: она дома.

Училище действительно вернулось. Оказалось, что за месяцы их отсутствия в городе многое переменилось, перетасовалось, но главное осталось на месте: старое здание с высокими окнами и тяжёлыми дверями, которые всегда открывались с усилием, будто не хотели выпускать тех, кто уже успел заразиться театром.

Галина Ивановна, не теряя времени, пошла узнавать про поступление. Для неё не существовало «может быть» и «вдруг не получится». Было только «надо». И Нина шла следом, стараясь не дать надежде разгореться слишком сильно, чтобы, если вдруг скажут «нет», не было так больно.

Но ей не отказали. Напротив, пожилая преподавательница, внимательно посмотрев на Нину, сказала:

– В тебе есть что-то... не показное. Не стараешься казаться больше, чем ты есть. Это редкость. А нам как раз нужны люди, которые умеют быть настоящими.

И Нина поступила в Свердловское театральное училище на курс к М.А. Бецкому.

Учёба оказалась не про вдохновение, а про труд. Про то,

как стоять по три часа в одной позе, чтобы научиться владеть телом. Про то, как разбирать текст по словам, по буквам, по паузам, пока он не станет твоим. Про то, как смотреть на партнёра и видеть не только его лицо, но и то, что скрывается за ним.

Были дни, когда Нина возвращалась домой с гудящими ногами и сорванным голосом, падала на кровать и думала: «Зачем мне всё это? Я ведь могла бы учиться на врача, могла бы сразу приносить настоящую пользу». Но потом она вспоминала, как на этюде старушка-соседка, которую она пыталась сыграть, вдруг становилась живой – не картинкой, не маской, а кем-то, у кого есть своя боль и своя надежда. И в эти минуты она чувствовала ту самую связь, которую когда-то ощутила в драмкружке: ты говоришь слово, и оно отзывается в другом человеке. И это тоже помощь. Просто другая.

В училище быстро стало ясно: Нина не из тех, кто берёт эффектностью. Она не умела кричать, чтобы её услышали, но умела говорить тихо – так, что все замолкали. Её хвалили за «внутреннюю правду» – фраза, которая поначалу казалась ей слишком красивой, чтобы быть про неё. Но со временем она поняла: правда – это когда ты не прячешь свой страх, свою неуверенность, свою надежду. Когда ты выходишь на сцену и как бы говоришь: «Вот я. Я не идеальна, но я здесь».

На втором курсе ей дали первую серьёзную роль – не главную, но важную: женщина, которая ждёт вестей с фронта.

Пьеса была про гражданскую войну, но для Нины она вдруг стала про всё сразу: про Тбилиси, про страх, который она носила в себе все эти годы, про маму, которая укладывала их с Любой по бокам от себя, чтобы им всем было не так страшно.

Репетиции шли тяжело. Нина никак не могла найти нужную интонацию в финальной сцене, где героиня, получив добрую вест, не плачет, а вдруг выпрямляется и говорит: «Он жив. Значит, всё будет хорошо». Ей казалось, что она фальшивит, что не имеет права произносить эти слова так уверенно.

Однажды вечером, когда она в очередной раз повторяла эту фразу перед зеркалом в гримёрке, к ней подошла её наставница, строгая, но справедливая Елена Сергеевна:

– Ты пытаешься сыграть уверенность. А её не надо играть. Её надо найти. Вспомни, когда ты сама верила, что всё будет хорошо, даже если оснований не было.

Нина закрыла глаза и вдруг увидела Михаила Глonti – как он спокойно говорит Любе: «Ты не бойся. Тут все свои». Увидела маму, которая, несмотря ни на что, собирала их и везла за мечтой. И поняла: уверенность – это не отсутствие страха. Это когда ты боишься, но всё равно делаешь.

На премьере, когда она произнесла: «Он жив. Значит, всё будет хорошо», в зале кто-то тихо всхлипнул. И Нина поняла, что на этот раз она не играла. Она говорила от себя.

Годы летели быстро, как вагоны поезда, который мчится мимо знакомых станций, и ты едва успеваешь разглядеть знакомые крыши. 1936, 1937, 1938... Нина училась, ошибалась, падала, поднималась, снова ошибалась и с каждой ошибкой становилась чуть сильнее.

А в 1939 году пришло время выпуска. Выпускной спектакль был сложным, многослойным, и Нине досталась роль, которая требовала всего: голоса, физических сил, нервов, души. Она играла девушку, которая стоит перед выбором: остаться в родном городе, где её все знают и любят, или уехать туда, где её никто не ждёт, но где она сможет стать кем-то большим.

Когда спектакль закончился, зал долго не отпускал актёров. Аплодисменты были не вежливыми, а настоящими, искренними – такими, когда люди хлопают не из приличия, а потому что их что-то тронуло.

После спектакля к Нине подошёл главный режиссёр Свердловского драматического театра:

– Завтра приходи на разговор. У нас есть для тебя предложение.

Так в 1939 году её сразу взяли в труппу Свердловского драматического театра. Без проб, без ожиданий, без «посмотрим, как ты покажешь себя». Просто: «Ты нужна».

Сначала Нина не поверила. Потом испугалась. А потом вдруг почувствовала странное спокойствие. Как будто все петли, все круги, все возвраты и отъезды были нужны имен-

но для этого: чтобы она оказалась здесь, в этом городе, в этом театре, в этот момент.

Вечером она сидела на подоконнике в своей комнате, смотрела, как город зажигает огни, и думала о том, каким извилистым получился её путь. Она вспомнила, как когда-то мечтала о белом халате, о диагнозах, о том, чтобы спасать людей. И поняла, что в каком-то смысле она всё-таки стала тем, кем хотела быть. Просто её «операционная» теперь была с занавесом, а «лекарство» – в слове, во взгляде, в тишине, которая наступает в зале, когда все замирают, чтобы услышать тебя.

Она вспомнила доброту семьи Глonti, ту обыденную, незаметную заботу, которая когда-то спасла их с Любой и мамой от страха, и подумала: «Я буду такой же. Буду подставлять плечо. Буду ставить лишнюю тарелку. Буду говорить: «Ты не бойся. Тут все свои».

И в этот вечер, глядя на огни Свердловска, Нина наконец-то перестала извиняться перед собой за то, что её путь оказался не прямым. Она поняла: путь с петлями – это тоже путь. Более того, именно петли делают тебя тем, кто ты есть. Они дают тебе опыт, чтобы ты мог говорить со сцены не заученными фразами, а своей правдой.

«Я не свернула с дороги, – подумала она. – Я просто шла по ней так, как могла. И теперь я здесь. И это правильно».

Глава 7. Первые роли, первая любовь и тихие пере-

клички судеб (1939–1940)

В театре Нина училась не только играть, но и быть незаметной, в хорошем смысле. Не тянуть на себя внимание там, где оно не нужно, не спорить, если можно просто тихо подать партнёру руку, не обижаться, если роль достаётся не ей. В этом она видела продолжение той самой доброты из Тбилиси: театр держался на маленьких, почти невидимых поступках.

Её первые роли были небольшими, но честными. В одном спектакле она выходила в массовке – женщина в очереди, молчаливая, с тяжёлой сумкой. В другом – соседка, которая приносит хлеб и говорит всего одну фразу: «Держитесь, скоро всё наладится». И именно эту фразу потом вспоминали зрители.

– Ты умеешь делать важное из малого, – сказал ей однажды пожилой актёр, который играл в этом театре ещё до революции. – Это редкий дар. Не потеряй его в погоне за главными ролями.

Нина кивала, но в глубине души боялась, что так и останется «той самой соседкой с хлебом». Ей хотелось большего – не славы, а возможности сказать со сцены что-то настоящее, от чего у людей сжимается сердце.

Оставаясь по паспорту Ниной Алексеевной Заспановой, она взяла себе в театре сценическое имя: Нина Александровна Шарова. Это был не просто псевдоним, а тихое призна-

ние: в нём жила благодарность Александру Шарову – человеку, который когда-то удержал их семью над пропастью голода. И, выходя на сцену, Нина словно брала с собой эту выученную стойкость: даже в самых лирических ролях у неё всегда была опора – внутренний стержень, который не гнулся.

А потом в её жизни появился Алексей. Он пришёл в труппу чуть позже, шумный, яркий, с таким смехом, что даже в самой мрачной гримёрке становилось светлее. Он играл молодых героев: порывистых, горячих, тех, кто бросается вперёд, не думая о последствиях. И в жизни он был таким же.

Алексей сразу заметил Нину. Не потому, что она была самой красивой или самой громкой, а потому, что в ней была тишина, которую хотелось беречь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.